

Кошкадохлая / продолжение

Category: Hekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Кошкадохлая / продолжение 21. 35.

Из кофейни вернулся Стив, улыбнулся мне во всю ширь своей американской улыбки, зачем-то выпучил глаза, отчего его брови поднялись, как у мультяшного персонажа:

– Я вернулся. Сейчас буду понемножку учить латинский, потом начну редактировать журнал.

Я стала писать дальше – но латинские возгласы за стеной, перешедшие скоро в звук гитарных струн, раздражали меня, и я три раза стукнула в стену.

Стивен, очевидно, не понял, чего от него хотят, и вместо того чтоб замолкнуть, – явился ко мне со словами:

– Я сейчас пойду курит, а потом приду обратно.

– Черт возьми, – наконец произнесла я, – ты сегодня сообщил мне эту поразительную мысль уже тридцать раз!..

Кончики пальцев зудели – то ли жаждали вцепиться в шею Стиву, то ли желали с невероятной быстротой бегать по клавиатуре.

«...Зайдя впервые в его комнату, она обнаружила, что он спит в книжном шкафу. Сверху книжные полки, снизу поперечная мягкая полка, которая откидывалась, как в поезде. Что-то похожее она видела в детстве в Киеве, когда была с мамой на экскурсии в пещерах Лавры. Узкое ложе в стене, под иконами, где почивали и отходили святые. Лишь только полка с тяжким стоном низвергалась – на нее сверху сыпались книжки Цветаевой, Казакова, Есенина, Бунина, Хармса, Солоухина – все их книги он перевел на сербский. В изголовье – икона святого Саввы. «Это мой личный окоп, – сказал тогда Милорад».

За стенкой кто-то говорил голосом Брежнева. Стив! Он ведь и в

театральной студии учился.

Врываюсь к нему.

Стив, развалившись в кресле, смотрит в компьютер: на Ю-тьюбе – ролик с Брежневым, генсек поздравляет советский народ с новым, 1980 -м годом.

– Бытие и время не ждет! – восклицаю я, хватаю труд Хайдеггера со столика возле дивана и трясу книгой над головой Стива. – Представь, что это, – я показала на комнату, – наш личный окоп, а за окнами идет война – война с Хроносом, ежеминутно пожирающим нас, своих детей!

– В борьбе с Хроносом побеждают только боги, – это один, – отвечает мне Стив, лениво поворачиваясь от компа ко мне и нехотя убавляя звук. – И два: Рилке писал: наша судьба – быть побежденными в борьбе с вещами, которые сильнее нас.

– Не помню я этого у Рильке! – негодую я. – А вот это помню: Кто выдержит неравный бой, / в том ангел, избегая боя, / сурово пестует героя / животворящею рукой, / и тот ответит дерзновеньем. / Победа – не его венец, / но с каждым новым пораженьем сильней становится боец!

Ощущая несусветную глупость, бессмысленность диалога – несмотря на его полушутливый тон, – я все же продолжаю, из упрямства:

– Может, треснуть тебя по голове этой книженцией? – вопрошаю я, размахивая в воздухе Хайдеггером. – Я слышала, как неграмотная горничная одного из европейских профессоров убиралась в его библиотеке, и, когда ей на темя упал Гомер, – горничная вдруг заговорила по-древнегречески, – а родной язык забыла...

– Латхе биосос – считали греки, – произнес Стив, – скрывайся, живущий! Кто хорошо скрылся – тот хорошо прожил.

22. 15.

Пора обедать.

Я разливаю дымящийся борщ в тарелки, и лицо Стива приобретает блаженное выражение.

– Я так люблю еду!..

Он чавкает и сопит над тарелкой борща, и я думаю о том, что он никогда бы не отдал последние деньги за словарь Даля, как это сделал Милорад, будучи в Москве, – отчего ему пришлось потом два дня питаться одним хлебом – до отлета в Белград.

Отгоняю эти мысли: самое глупое – сравнивать двух мужиков, тем более что серб никогда не стал бы так возиться со мной в больнице, как это делал Стив, не отказался бы ради меня от ежедневной выпивки и не стал бы искать компромиссов, чтобы кормить семью, – продолжал бы переводить Казакова за 40 евро, или никому не нужного в Сербии Вадима Кожинова...

Жизненная стратегия Милорада пряма и крута, как отвесная скала, в который святой Савва вырубил себе келью, – высоко, почти в небесах, туда мы часа два поднимались пешком... Единственный день во всей моей жизни, – свободный от страха!.. Все, гнетущее меня десятилетиями – и там, с ним, в Сербии – отсутствие денег, постоянной работы, и его регулярное пьянство, – как я буду жить с пьяницей? – даже моя болезнь, – ядовитая тварь, претворяющая мою кровь в смертельную смесь, – все, совершенно все! – казалось оттуда, сверху, едва различимыми мелочами. Как красночерепичные домишки внизу, в долине, похожие на божьих коровок.

«Все к черту, что накатала, – подумала я, механически поглощая борщ, – надо только описать один этот поход в скит к Савве – и чтоб почти без слов, как у Казакова, – и их отношения через запахи, ходьбу, шум листвы в ногах...»

– Надо перестроит часы, – прерывает мои размышления Стив, глядя на коричневый кружок настенных часов, висящих на стене. – Хотя можно подождать еще полгода и время будет опять правильно, – хохочет он.

– Я выйду покурит и потом приду обратно, – говорит он.

– И я с тобой.

Вынесли пепельницу, поставили на батарею, стряхивали пепел в нее, но соседка с собакой не оценила этого шага, собака остановилась и, зарывав, раскрыла пасть и схватила Стива за штанину.

Соседка неторопливо и очень ласково отодрала ее от Стива и зашла в лифт почти счастливая. Она пыталась скрыть улыбку – но не смогла.

– Видишь, – произнес он, показывая на двери лифта, – счастье можно испытывать от чего угодно.

– Не так, – сказала я, – ты не так понял. Реальность, жизнь – уже хватает тебя зубами, скоро разорвет на части – а ты все еще предаешься безделью! Знать несколько языков – пусть и не в совершенстве, столько читать – и жить без пользы, без смысла – как идиот!

Стив нахмурился.

– Dammit! Слово «идиот» происходит от латинского «идиотес» – «отдельный человек», то есть личность. И тоже – я не хочу это постоянно от тебя слышать. Я хочу быть счастливым!

– Ты закончил философский. Разве вам там не говорили, что счастья нет? Что назначение философии в поисках смысла жизни?

– Well, древние вообще не думали о смысле жизни – это христианская одержимость. У них был другой вопрос: как достигают счастья, как быть хорошим человеком. Эпикуриус считал: счастье возможен, жизнь должна быть счастливой, но в меру, – слишком большое счастье опасно, оно приносит боль, неприятность. Надо avoid them.

«Эта «мера» больше всего и бесит меня в нем, – поняла я, и опять стали зудеть кончики пальцев – то ли оттого, что хотелось поцарапать его, то ли оттого, что хотелось написать о том, как хочется поцарапать. – Хочется и того, и другого, – решила я, – и если написать, то второе желание поглотит первое и можно будет обойтись без драки... Милорад же был безмерен в

своей нищете и преданности русской литературе, – и объятья его были безмерными – во времени и в пространстве. Вот поэтому-то я никак не освобожусь от них и здесь, со Стивом. Скорей бы дописать рассказ: наша с ним история перейдет в иную реальность и будет жить там, – может быть, развиваясь».

Стивен меж тем продолжал излагать Эпикуровы тезисы:

– Он думал, надо жить с удовольствием. Разберят полезное и неполезное, чтобы не допускать ошибки. Цель жизни, о которой ты спрашивала, – безмятежность души и тела. Всего этого можно достигать с помощью разума...

«Никогда не соразмеряла полезное и неполезное. Хотя – разве вот сейчас выбрала его не из-за пользы для себя?... Хотела любви, заботы. Счастья! – я захохотала над собой. – Может, и покоя даже этого, о котором он все время талдычит. Только не мертвого, бездеятельного покоя, не ослабленья движущих сил, – а того, другого, которое в согласье с другим человеком достигается. Чтоб весь мир на двоих – и Эпикур этот, и церкви Грозного, и караимы – и бесконечные, упоительные разговоры – обо всем! И венчание, и чтоб до гробовой... Но не получается: у нас совсем разные души. Выходит только спор – а надо его слушать – и все. Принимать – хотя бы шутя. Но как? Ведь хочется слиться в молитве, в вопле, в смехе – как с Мидорадом! Молитва Стива – бормотанье на разных языках, моя – плач по уходящему отцу, по времени, которое я потеряла в безмолвии, и теперь, когда пишу, хочется все наверстать – и в жизни, и в литературе... Я воплю – когда жизнь застревает, он – когда она несется, пугая его...»

– Что ты так на меня смотришь? – испугался Стив. – Скуши-скуши-скуши...

«...Не умею я жить с удовольствием, не допускать ошибок, – да и что за жизнь это? Эпикур напридумал всякую всячину. И что такое безмятежность? Разве она не в райских садах только и бывает? Кстати, говорит так, как будто христианства и не

существовало вовсе — сначала Эпикур этот, — потом сразу экзистенциалисты с их идеей того, что нет ничего — ни плохого, ни хорошего. ...Доведу я его, беднягу! А он меня уже довел».

22. 45.

«— Черт! — заорала Надя и стукнула кулаком по письменному столу, вдруг осознав, что не может закончить этот рассказ, потому что не хочет его заканчивать.

Смерть, болезнь были частью ее жизни — и надо было как-то жить с этим, принять это. Одним своим существованием где-то там, в фиолетовогорой и красночерепичной Сербии, Милорад помогал ей справляться с невыносимыми обстоятельствами, — а когда она писала о нем, он был будто рядом. Стив не хотел о думать о неприятных вещах — и тем самым отрицал ее, Надю.

Набрала отцу. Он спал в своей больничной палате.

— Ты пишешь? — только и спросил он. — Ты должна писать.

Голос звучал слабо, едва слышно, как из другого мира.

— Да как-то не могу. Тревоги мешают.

— Время жизни — тревожное, — отвечал он совсем как Милорад, — покой будет в могиле. Преодолевай, — и положил трубку.

«Как я могла принять Стива за натуру, подобную отцовской? Неужели уже там, в Коломенском, где он полчаса обсасывал рачьи клешни, щурясь от удовольствия, совершенно забывши тему разговора — было мне непонятно, что он живет в круглогодичной спячке? Сработали какие-то глупые разговоры про русскую историю, каких-то караимов...»

С возможным уходом отца в ее мире открывалась гигантская дыра, — величиной с земной шар: отец объяснял, украшал и усложнял собой мир, открывал его тайны, сыпал замыслами. Он был блистателен — и беспощаден к миру, к ней и к себе. К ней — особенно, когда она не писала и жила для удовольствия, как сейчас Стив. Отец был мерой всех вещей! Что она будет без

него? Поиски мужа, похожего на отца, заняли пятнадцать лет из ее тридцати пяти, – и, понятное дело, не могли увенчаться ничем – тем более в эти последние полгода, – когда она хваталась то за Милорада, то за Стива: истерия лишь усугубляет результат.

Милорад напугал ее своей страстью к самоуничтожению – он пил, зная, что его печень почти не работает; отказывался от денежных заказов, – «я не пишу латиницей, – а они не издадут на кириллице». Он не стал бы переводить Лимонова, даже если бы ей нужны были лекарства. Так же отец, в свое время, отказывался писать соросовские учебники – потому, что давали мало времени, а он не мог писать плохо! А ведь семья жила на одной каше с подсолнечным маслом... Черт бы побрал этот образ героического мужчины, внушенный нам нашей чертовой литературой!»

Заглянул Стив.

– Я пойду покурит и потом приду обратно.

«А хоть и не приходи, – подумала я, – я страдаю уже много дней, а ты этого даже не замечаешь», а вслух сказала:

– А что твои эпикурейцы думали о смерти?

– Ничего.

– Как это ничего?

Стив процитировал известное изречение: пока мы живы – смерти нет, а когда есть смерть – нет нас. Само собой, на латыни. Чего-то там такое: ...nil igitur mors est ad nos neque pertinet hīlum.

– Позвольте – как это? А как же смерть детей, родителей, жен и мужей – они же случаются при нашей жизни?

– Я пойду покурит, а потом в ларек за шоколадом. Тебе что-нибудь нужно?

Это был традиционный вечерний вопрос, неизбежный как «я щас пойду покурю, а потом приду»; тупость фразы про курение

почему-то вначале успокаивала меня. Немудрено — семь послеразводных лет в одиночестве!.. Но это было вначале.

— Что ж — иди, — сказала я, — Милорад выпивает на ночь, ты жрешь шоколад пачками перед сном и отвечаешь на священные вопросы какую-то херню, лошади кушают овес...

— Что? Не понял. Какой лошади?

Уже из прихожей донеслось:

— Наденка, на самом деле, мне ближе всего стоики: кто согласен — той судьба ведет, кто не согласен, того она...

— С чем? С чем не согласен?

— ...и они считали, что надо одобрить все, что есть. По-моему, ты этого не умеешь...

— Точно!.. А у тебя кто-нибудь умирал?

— Никто.

— Бабушки? Дедушки? Одноклассники? Однокурсники? Кошки?

— Нет. Бабушка с дедом живут в доме для старых, вернее, в двух домах, он в одном, она — в другом, умер только дед-нацист, в Германии, но я его не знал.

Стив уже натянул куртку, но потом вернулся из прихожей и стоял на пороге моей комнаты. Лицо у него было растерянное.

— Тебе плохо со мной? Наденка, я зарабатываю деньги, не прошу, чтоб ты шла на работу, делай, что хочешь, можешь вообще ничего не делать, я даже не прошу тебя готовить — могу есть бутерброды, в следующий месяц получу больше денег: будем ходить в ресторан. Почему ты мне не разрешаешь жить, как я хочу? Ты все время недовольна. Плохой секс?

Я скривилась: опять не понял.

— Я пойду покурю и потом приду обратно, — он закрыл было дверь в мою комнату, как вдруг я выскочила из-за стола и схватилась за ручку...

— Dammit! For the love of Lord! — крикнул было он, но потом

заныл по обыкновению, сдвинул брови, застонал: – На-адя... Опят...

Стив вздохнул и тоном школьного учителя начал:

– Нет ничего плохого и хорошего – все только существует. Человек принимает окружающие вещи толко по отношению к себе, но это неправильно.

– Ну хорошо, – произнесла я. – А как же жена, например? Например, как я. Болеет, умирает. И это не хорошо и не плохо?

– Жене плохо, – засмеялся Стив, – а мужу, может, хорошо. Она умрет – ему достанется квартира.

«Ах, так? – тоже захихикала я, но про себя. – Даже и не надейся на прописку, если мы все-таки поженимся!»

– Зачем ты все время водишь эти разговоры? – мученически произнес Стив.

– Затем, что я завела тебя – чтобы вести эти разговоры! А ты не знал? А ты для чего меня завел?

– Скуши-скуши-скуши, – засюсюкал Стив, надувая щеки и вытягивая трубочкой губы навстречу мне, при этом он щипал меня за попу. – Я так люблю тебя, я хочу быт счастлив с тобой, но зачем ты мучаешь меня и себя?... С тобой нет никакой покоя. Я толко начну читат Хайдеггер или Кант – и, кажется, в мире ест внутренняя логика, целостност, красота – тут пролетаеш ты, как торнадо, и говориш: ты неправ, Хайдеггер неправ...

– Жизнь – время тревог, покой будет в могиле, – неосознанно повторила я отцовские слова. – Николай Второй и Александра Федоровна тоже не хотели слышать ничего неприятного, – а в итоге – оказались в шахте.

Стив целует меня в нос, как младенца:

– Я тебе сто раз говорю: не надо бояться, все будет хорошо. – Скуши-скуши-скуши.

«Надо отослать его за оставшимися книгами на старую квартиру сегодня же вечером – иначе я начну бить его в ответ на эти

«скуши» ... Надо же — он тоже видит во мне ребенка, как и я в нем, — беспокойного и, скорее всего, больного и сумасшедшего. Может, это и есть любовь?»

22.15.

Лязгнула дверь: Стив вернулся из ларька, потом быстро зашел в свою комнату и закрыл дверь.

«Впервые за полтора месяца не пришел ко мне со словами: я пришел и сейчас пойду в свою комнату. Может быть, понял, что это сообщение не имеет чрезвычайной важности?.. Вряд ли. Боится разговоров», — думала я, закуривая сигарету прямо у себя в комнате и нервно щелкая мышью.

— Все понятно! — воскликнула я вслух. — Я не могу найти замену отцу и поэтому сама превращаюсь в него — дергаю Стива так же, как отец всю жизнь дергал меня, побуждая к действию — все эти годы, что исчезли в пустоте. Я ничего не писала — но ведь я не могла: я все ждала, когда болезнь отступит и я смогу жить, не насилуя себя, работать, ждала, в сущности, покоя, как сейчас Стив. И только два года назад поняла, что покоя нет и не будет, а есть только то, что есть. И если я хочу по-настоящему жить, то надо жить — в предлагаемых обстоятельствах! Ненавидела отца за его вечные окрики, обличения... Он был непреклонен, порою груб, — требовал от меня того, чего я в тот момент не могла. Вот и Стив начинает меня ненавидеть и бояться. Я превращаюсь в отца потому, что невозможно смириться с его исчезновением, и потому, что кто-то должен наследовать его истины, им никак нельзя потеряться в хаосе законной жизни....

И теперь, когда я вижу его в больничной палате, блее белого, с седой бородой, с аскетически черничным монашеским ртом и глубоко посаженными зрящими насквозь глазами, — я понимаю: он был прав и неправ. Прав в том, что преодолевать было надо, — писать, несмотря на болезнь, — но и неправ в том, что не видел: писать я не могла, не дойдя до критической точки, за

которой начинается или распад, или бурное цветение. Если бы Стив одним лишь глазом заглянул в мой черный колодец! Нет, – у него должен быть свой! Из колодца, говорят, так радостно наблюдать яркие звезды... Папа мне об этом говорил еще там, в Казахстане, когда мы ходили за водой, рассказывал еще, как спасался в пустыне от зноя в колодце, а потом о русском злом водянике...

...Я заплакала, вспомнив отцовские длинные мягкие пальцы, которыми он в детстве водил мне по бровям, – почему-то против волос – думал, что я так быстрее засну. Мне не нравилось, но я не хотела, чтоб он уходил.

...Такая тяжесть – невозможно дышать, скорее за сербский рассказ! Солнце, горы, россыпь красных черепичных крыш в долине, его сияющие глаза, дрожащие руки, когда он меня касался...

Перелистывала сербские фотографии: вот запрокинутое в небо мое просветлевшее лицо, он обнимает меня сзади, вот мы на фоне задушбины Кустурицы в Древенграде, еще шаг – и упадем в пропасть, – церковь стоит на самом обрыве, – вот мы везем из магазина на грузовике домой алую барочную кровать, и сидим на ней, лица смущенные, какое-то даже недоумение проступает на них: мол, разве можно быть такими счастливыми?..

Я сходила на кухню за бутылкой и стопкой, поставила ее рядом с ноутбуком, опять задымила, – возвращаясь вновь и вновь к той фотографии, где мы с Милорадом сидели на кровати, а кровать на грузовике... Думали ведь, простак, что с этой кровати начнется наш дом, он с первого дня мне говорил: «через пять минут будем дома», «вот за той горой наш дом»...

Как будто какая-то могучая, страшная и ржавая пружина, до той поры сжимаемая хилыми ребрами моими и угнетаемая обессиленным духом, – раскрывалась, пугая и будоража меня, – грозясь разнести все к чертям!

И поняла я, что рассказ будет – а Стива не будет.

И понеслась:

« — Целуя меня, ты целуешь череп, — читает он ей стихи вперемежку с поцелуями. И она знает, что всю жизнь мечтала целовать его губы, длинные пальцы, — а потом череп, череп, череп!.. Потому что нас очень скоро не станет. А вручая ей свой череп для поцелуев — он вручает ей себя навечно.

Она всегда знала, что ее первая ночь с богоданным мужем будет нести этот трагический отпечаток неотвратимости смерти, тяжелой какой-то печали и вместе с тем противостоящей ей великой надежды, происходящей от веры в то, что двое, соединяясь, переборят неизбежное одиночество небытия.

Еще там, на Бородинском поле, где они познакомились, две черные тени, стоящие у них за плечами, нашептали друг другу что-то — и сговорились. Ее тень — тень тяжелой болезни, его тень — тень войны, на которой погибла его мать и которую он будет вести до конца дней своих. Может быть, их тени хотели соединиться в одну, и, просветлев от встречи, обернуться покрывалом, которое защищало бы их от пустых людей, ошибок, зря потраченного времени...»

Еще пятьдесят грамм, сломанная сигарета дымится в пепельнице, наполняя воню все вокруг...

«...Поэтому сейчас, когда они лежали друг подле друга как два младенца, — поджав колени и подложив ладонки под щеки, голые, незащитные, — тогда, когда обычные люди говорят друг другу о любви — он стал рассказывать ей о войне. Она слушала, оцепенев, потому что знала, что это и есть ее первое — а может, и последнее, — подлинное признание в любви.

— ...Знаешь, нас и во Вторую мировую бомбили на Пасху. Братья - христиане. На бомбах было написано «С Пасхой!» Нам дали задание сопровождать и разместить беженцев в Доме культуры, здесь, рядом. Помню, я разговаривал с одной учительницей, у нее погиб ребенок, и она потом утопилась в Рибнице. Никак не могу понять, как она это сделала, — там же воды по колено. Это

как надо хотеть убить себя – чтобы, сев на корточки, опустить лицо в воду и так сидеть – минуту, две, не дыша. Потом мне дали увольнительную, и я поехал к маме. Я уже знал, что случилось, поэтому не торопился. Зашел в кафану. Хозяин налил мне стакан ракии, я потянулся за динарами, он отодвинул мою руку: не надо, нас завтра не будет, а ты – платить!.. Кроме меня, в кафане сидела пожилая актриса и жаловалась неизвестно кому, что ей не дают ролей. Уже выйдя на параллельную улицу, я увидел соседа, который копался в пепелище. Он когда-то дал пощечину моему отцу, и я с тех пор не здоровался с ним. Он поклонился мне, заплакал, мы обнялись. Потом... Потом... Потом я свернул на свою улицу и увидел только грушу, под которой играл ребенком. Ее разрезало пополам. Рядом была военная часть и склады с боеприпасами, так что все жители нашей улицы уехали к родным в горы, а мама осталась. Она закрыла ставни и наотрез отказалась уходить из дома. Молилась. Накануне она отдала сестре – моей тетке – все ценности: обручальное кольцо, которое дарил ей отец, – я отдал его тебе, – документы, мои детские фотографии, и ларец для моей будущей невесты: в нем прабабкино золотое ожерелье, фартук, полотенце. Туда же, говорит тетка, она положила иностранное мыло и запасы туалетной бумаги...Мачеха поднесет его тебе на веридбе – нашей помолвке».

Душа болела и силы кончились. Хотя всегда бывало наоборот: чем больше ныло в груди – тем сильнее выходили строчки.

Вошла к Стиву. Он лежал в полудреме на диване и, тупо глядя в мою сторону, стал водить рукой по воздуху, приветствуя меня, – бессильно и уныло, – как Брежнев с первомайской трибуны.

«А диван-то плохо натянут. И так обивка на нем висит, как щеки у бульдога – и яма в середине уже появилась. Скоро я буду видеть только одну его голову, а остальное провалится, так сказать, в неизвестность».

– Мне ответил отец Глен, мой преподаватель по философии, – произнес Стив сонно, – сказал, у него рак, скоро уйдет из

университета...

– И чего ж ты ждешь? – я замерла. – Он последний, кто тебя помнит! Он же последний!!! Последний! Надо писать – а ты лежишь здесь, как полумертвый Брежнев!..

– Маркс тоже лежал на диване, это бил его любимый место, – через некоторое время с улыбкой произнес Стив, – так что английский шпион, посланный к нему, написал на родину в отчет: этот человек не опасен, он все время спит или лежит. К тому же он еще пил. А я не пью.

– И писал, – вставила я.

– Я тоже написал сегодня полстраницы...

Мне вдруг стало нестерпимо душно. Я промолчала.

– Знаешь, сейчас мне снился школа в Ростове-на-Дону, где я преподавал английский пять лет назад. Знаешь, Ростов – мой любимый город... А потом мне снилось, что приходят милицейские и хотят депортировать меня из России. Мне часто снится такой кошмар.

«Черт знает что такое! Россия – какая-то богадельня. Все сюда тащатся – кто нигде не смог устроиться – все сюда. И сегодня язык не поворачивается сказать об этом высокими словами, вроде: Россия, какой огромный странноприимный дом... Ладно, хватит! Никаких мучительных размышлений! Попыток понять! Диалогов!»

Я поворачиваюсь и иду к двери, но вдруг останавливаюсь:

– Слушай, а почему ты так боишься, что тебя вышлют? Америка – твоя родина.

– В Америке большой уровень страха. В Америке люди считают себя лучше всех, а у хорошего человека должно быть много врагов.

– Это еще почему?

– Ну-у, – тянет Стив, – США еще недавно была аграрная страна. Фермеры путешествуют мало, редко видят внешний мир. Они боятся внешнего мира и считают, что все хотят им навредить. Потомки сектантов. У них комплекс преследования. Это не католичество и

тем более не православие, — где ест идея страдания. Они считают себя очень хорошими людьми и считают, что Бог их любит. Но в обществе всегда что-то не так — и всегда это сделала злая сила извне.

«А он умница».

— В 70 -х — это были «сатанисты».

Стив показывает пальцами две латинские «v» и шевелит ими, как щупальцами. Так у них изображают кавычки.

— В 73 -м году явился первый «хэллоуинский убийца», Джералд Тернер, который замучил 9-летнюю девочку в Мэдисоне, в 1974 -м 8-летний ребенок из Техаса сел конфету с циан.

— Цианидом?

— ...да, с цианидом, которую дал ему отец. Потом другую девочку забили клюшкой для гольфа, — тоже в Хэллоуин. Америка впала в панику: сатанисты захватили детские сады! Школы! Детей никуда не отпускали. Например, какому-то ребенку учитель подарил медведя. Ребенок смотрел фильмы ужасов и слушал пуганных родителей. Он пришел домой и сказал: сэр Роджер хотел подарит мне козлиную голову. Родители испугались, вызвали адвоката. Адвокат спросил ребенка: что тебе хотел подарит учитель? Ребенок говорит: медведя. — А ты уверен? — Ну, я не знаю... И начинается паника в газетах. В конце 80 -х эти скандалы надоели — начались церковные скандалы, с развратными пасторами. Пастор обманул жену с проституткой или соблазнил малчика. Его судят, и на суде он говорит: Сатана боится меня, потому что я на самом деле хороший, и он соблазнил меня этим малчиком. То есть когда я грешу — это не моя вина, понимаешь? И вот он пока... кая... ф-ф-ф... прокаивается...

Стив высовывает язык и тяжело дышит, как загнанная собака, демонстрируя, как невыносимо тяжел русский язык. Дышит и фырчит, — а потом сгибается пополам, и я вижу, что он весело хохочет:

— А потом этот пастор просит прощения, плачет — и все в

восторге! Он герой! Х -ха -ха! Но вообще церковные истории с геями-пасторами уже никого не волнуют. Тепер лютеранская община США рукополагает геев. Губернатор Калифорнии Шварценеггер пожелал розовым удачи в борьбе за однополые браки. Пасторы-квирз делают туры по Америке под лозунгом «Иисус бил геєм!!» Про своего духовного пастира Джереми Райта Обама сказал, что он «хорошо относится к секс-меншинствам». Новый кошмар Америки – сам Обама! Когда республиканцы обсуждали реформу здравоохранения – одна четвертая часть избирателей назвала Обаму антихристом, 38 процентов – Гитлером, а остальные уверены, что он либо тайный мусульманин, либо тайный социалист.

– А что это за реформа?

– Ну, он подписал принятый Конгрессом закон, который расширит страхование здоровья на 30 миллионов человек.

– И.

– Ну, если социальное здравоохранение было в Советском Союзе и в Трети Райхе, значит, он либо социалист, либо нацист. Извини, звонят. Возьму трубку?

– Возьми.

Лицо Стива посерело, губы задрожали. Он с минуту слушал, а потом медленно положил радиотелефон на подставку.

– Что? Кто? Неужели опять телефонный маньяк?

– У каждого должна быть своя планетарная система, – как андроид, повторял Стив. – Если вы найдете точку покоя – оттуда будет широко виден мир и Вы... вы...

– ...сможете описать его в терминах философии, – договорила за него я. – Мы это уже наизусть выучили. Слушай, а у этого мужика был акцент?

– Нет.

«Это шутки в стиле Милорада, но у него сильный акцент, значит, не он», – подумала я.

– Знаешь, это твой личный американский кошмар. Ты же сказал: в

Америке все и всегда чего-то боятся. Твой американский кошмар переплыл Атлантику и последовал за тобой, – ты же знаешь, от себя не убежишь, – сказала я, улыбаясь своему новому замыслу о четырех поколениях бегущих людей – семье Стива.

Вернулась в комнату.

Налила себе еще стопку.

«А ведь это Он ему звонит, – сверкнуло в голове, как искра, – но даже Он не в силах его растряссти. Видимо, это их, лютеранский вариант, – Божественное предопределение. Он не предопределен ко спасению – только к бессмысленному барахтанью в обманчиво теплой ванной – среди проплывающих мимо мыслей и идей на разных наречиях. Но тогда зачем Он звонит? А, ну это, наверное, Наши звонят, они взяли над ним шефство – живет здесь 10 лет, уезжать не собирается. Ну, они и решили помочь. Но у нас-то, в православии, свобода воли – потому Они ничего не могут сделать с ним, если он сам того не хочет. А я смогу сделать то, что не смог сделать Он! Вот я возьму – и ...»

Я была совсем пьяной. Водка прибавила мне удали, но не затуманила рассудок. Предметы и явления казались простыми, как никогда. И я знала, что делать! Только вот наберусь решимости...

Вошла в скайп.

Кликнула на зеленую телефонную трубку.

Он ответил тут же – как будто все эти месяцы только сидел и ждал моего звонка. Увидела старый, исцарапанный поколениями котлов, буфет с липкими треснутыми рюмками, – среди рюмок – портрет Есенина и икона Саввы...

– Я топлю печку, извини, – сказал Милорад, – и я видела, как крупно дрожат его руки, когда он берет со стола и скручивает жгутом старую «Литературку», чтоб засунуть ее в печь... – Труба вот отвалилась. Приделал кое-как. Не знаю зачем. Завтра, наверное, опять начнет трясти...

– Ты стал совсем седой, – сказала я и заплакала.

– Да, – ответил он от печки, и, пока его не было видно, я

глядела и глядела на буфет, пока наконец не разглядела фотографию – ту самую, где мы вдвоем, в горах у Саввы, со светящимися лицами, – и над нами вышедшее в ту самую минуту, когда щелкнул фотоаппарат, – солнце – вырвавшиеся из-за туч могучие, прямые лучи, как на той иконе, где Господь шествует во славе...

– Да, я поседел, – сказал он, вернувшись к компьютеру, не зная, что еще сказать. – Не краситься же мне, в самом деле? Я хочу всегда помнить, что жизнь коротка и надо многое успеть. Я сейчас перевожу «Темные аллеи», только что закончил «Антологию русской литературы 20 века». В этом месяце издатели прислали мне аванс семьдесят евро, питаюсь одной картошкой, свалюсь где-нибудь под забором, боюсь, не успею сделать всего, что задумал... Знаешь, загулял тут, думаю: а, лети все к чертям!.. А потом взглянул на себя в зеркало: ебига! да ты весь седой, а Кожинов ждет, Астафьев ждет, у нас его почти не переводили...

Я молчала – а раскрывшаяся пружина рвала мои внутренности... «Уехала от него – потому что пьющий, – значит, не подходит в мужья. А сама-то сколько проживу? А главное – как?»

– Ты знаешь, у нас уже две недели землетрясение... – проговорил он через силу, и голос дрожал. – То пять баллов, то три. На потолке трещины. Сарай развалился... Только покрою крышу черепицей – опять голая. Дьявол! Опять лезу... – он засмеялся сквозь слезы. – Я, знаешь, все думал: вот завалит меня к чертовой матери, – и тебя не обниму перед смертью.

Он натужно засмеялся.

– Обнимешь, – сказала я, – завтра приеду.

Он удивленно поднял брови, но я тут же повесила трубку.

Пишу последний абзац рассказа.

«Она уехала, предав его одиночеству и голоду. В кладовке не осталось ни одной банки с соленьями, в дровянике – ни одного

бревнышка. Пока он вызывал такси – от соседей – телефон тоже был отключен за неуплату, – она наконец-то отважилась зайти в дровяник и встретиться в его сумеречном пыльном нутре с тенью повесившегося отца, которая донимала ее по ночам своим плачем. Что-то серовато-воздушное коснулось ее лица – она не поняла – паутина это или призрак. Она сказала: каждый борется со своей судьбой в одиночку, передай это сыну. Я уезжаю и разрешаю ему продать нашу багрянородную кровать, огромную, как небо, куда мы на ней взмывали».

Звонок по скайпу. От Мило:

– Я хотел сказать... что... что... продал нашу с тобой кровать. Жить было не на что.

– Опять спишь в книжном шкафу?

– Да, – он рассмеялся, да так задорно, как могут смеяться над своими несчастьями только на Балканах.

01.15.

Я пошла на кухню, разогрела суп.

Ели молча.

Не обошлось, конечно, без замечания Стива, что надо все-таки «перестроить» часы. При этом он, разумеется, не двинулся с места.

Я встала на табуретку и подкрутила их. Теперь они показывали правильное время.

Села за стол. Потом опять вскочила – и снова залезла на табуретку, еще раз перевела стрелки – теперь они убегали, удирали, неслись на час вперед.

Стив тревожно смотрел на меня, округляя свои и без того круглые глаза, но ничего не хотел спрашивать.

Принесла из комнаты бутылку водки, налила себе и Стиву.

«Совершенно ясно, – решила я, – что мне надо жить там, с ним.

Но калифорниец-то забомжует тут без меня. Ладно, оставлю ему квартиру... И что? Никто не будет говорить ему неприятных вещей, и он окончательно потеряется, зависнет между континентами и временами. Несмотря на мою болезнь – а как раз благодаря ей – я живу в реальности, а он – нет... Даже соседская овчарка не будет кусать его за ногу – потому что он будет курить дома, в коридор ему лень выходить. Я должна что-то сделать для него, и я знаю, что».

Пошла в комнату, села за комп. В поисковике забила «экзистенциализм». Настало время разобраться, наконец, с этой заморской штукой!

«Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как «экзистенцию», человек должен оказаться в пограничной ситуации – например, перед лицом смерти. Тогда мир становится для человека «интимно близким».

Ну да! Я вот это как раз и помнила с института – а он мне все про какую-то объективность и необъектив-ность зла!..

То, от чего я уже много лет пытаюсь спастись – поможет нам! Ему! Как там? Нет ничего объективно хорошего и объективно плохого? Ну ладно, раз так.

(Продолжение следует)... Neкаýalar